

ЕВГЕНИЙ СУХОВ

ВОЛЧЬЯ КАТОРГА



Дела следователя Воловцова

ЕВГЕНИЙ СУХОВ
Волчья каторга

«ЭКСМО»

2013

Сухов Е. Е.

Волчья каторга / Е. Е. Сухов — «Эксмо», 2013 — (Дела следователя Воловцова)

Москва, конец XIX века. Судебный следователь Иван Воловцов расследует убийство коммивояжера Григория Стасько. Под подозрение в первую очередь попадает Зинаида Кац, на мужа которой коммивояжер донес в полицию. Воловцов почти уверен, что Григория по просьбе Зинаиды убил ее родной брат. Есть и доказательства: в одном из увеселительных заведений тот расплатился часами, украденными у коммивояжера. Дело вроде бы ясное, но следователь вдруг решает еще раз осмотреть меблированные комнаты, где был найден труп Стасько. Тщательный осмотр места преступления приносит свои плоды: у Воловцова появляется еще один подозреваемый...

© Сухов Е. Е., 2013

© Эксмо, 2013

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1 | 5 |
| Глава 2 | 9 |
| Глава 3 | 13 |
| Глава 4 | 20 |
| Глава 5 | 23 |
| Глава 6 | 30 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 36 |

Евгений Сухов

Волчья каторга

Глава 1

Начальство не любит, чтобы сотрудники отдыхали долго, или Новое дело судебного следователя Воловцова

Напольные часы в приемной председателя Департамента уголовных дел Московской Судебной палаты Геннадия Никифоровича Радченко пробили девять звонких ударов. С десятым ударом двери растворились, и в приемную вошел сам председатель Радченко – человек тридцати восьми лет от роду, безбородый, безусый и с весьма приятной, располагающей наружностью. Кивком головы он поздоровался с секретарем, пожал руку судебному следователю по наиболее важным делам Воловцову, которому было назначено на девять утра, и прошел к себе в кабинет, оставив дверь слегка открытой. Это означало, что в кабинет можно войти. Воловцов знал привычки своего непосредственного начальника, но все же вопросительно глянул на секретаря: «Я войду?» – «Входите», – кивком головы разрешил секретарь, и Воловцов, выждав еще пару мгновений, переступил порог кабинета председателя департамента...

– Рад видеть вас в добром здравии, Иван Федорович, – произнес Геннадий Никифорович, указывая на стул подле своего письменного стола. – Как отдохнули?

– Благодарю вас, отдохнул хорошо, – ответил Воловцов, присаживаясь на стул. – Похоже, выспался на неделю вперед.

Со стороны можно было подумать, что судебный следователь Воловцов только что вернулся из отпуска, иначе, из длительного отпуска, который он провел, к примеру, вдали от Первопрестольной в своем родовом имении, где только и делал, что ходил по гостям, вкушал различные деликатесные яства, пил с соседскими помещиками мадеру с малагой и спал не менее, нежели до полудня. Однако в действительности все было не так. Никакого родового или иного имения за Иваном Федоровичем Воловцовым не числилось, да и отпуска, как такового, у него не было. Просто по завершении дела о двойном убийстве в Хамовническом переулке и ночной засады в Детской клинической больнице, где преступник-убийца был взят с поличным, начальство выделило ему день отдыха, что, видимо, с их точки зрения, и считалось отпуском. Впрочем, судебный следователь Воловцов от дела никогда не отлынивал и бесцельному отдыху предпочитал служение Государю и Державе в благороднейшем деле очищения Отечества от злоумышленников и законопреступников. Хотя судебному следователю по наиболее важным делам коллежскому советнику Ивану Федоровичу Воловцову можно было бы дать отдохнуть и побольше, поскольку дело о двойном убийстве в Хамовниках оказалось весьма запутанным и крайне непростым...

Суть дела была следующей.

Пятнадцатого декабря прошлого года, в половине девятого вечера, в доме мещанки Стрельцовой, что стоит на углу Хамовнического и Божениновского переулков, в квартире главного пивовара Хамовнического медопивоваренного завода Алоизия Осиповича Кара были обнаружены еще теплые тела его жены Юлии Карловны и дочери Марты. Также в комнате Марты в крайне тяжелом состоянии находилась младшая дочь Алоизия Кара – Ядвига. Всем им, в том числе и Ядвиге, были нанесены проникающие ранения головы тяжелым предметом наподобие топора или колуна. Орудие убийства со следами крови лежало на кухне. Им и в

самом деле оказался колун, с месяц назад пропавший у дворника Федора. Однако правда о его пропаже выяснилась лишь после того, как дело принял в свое ведение судебный следователь Воловцов.

Первым тела убиенных обнаружил сын Алоизия Осиповича, Александр, ожидавший на кухне, когда вернется из кондитерского магазина слуга семейства Кара Василий Титов, которого Кара-младший послал за карамелью. Александр собирался к своей невесте Клавдии Смирновой, поскольку она намеревалась поутру следующего дня ехать в Боровск, а потому надлежало проститься с ней соответствующим образом: он накупил ей подарков (в том числе дорогих ювелирных украшений), но забыл про карамель, которую барышня очень любила. Вот и послал за ней в магазин слугу. Дожидаясь Титова, Александр, как он сам показывал на допросах, услышал «душераздирающие» крики, доносившиеся из комнаты Марты, кинулся туда и увидел, что Марта убита, а неподалеку лежит тяжелораненая Ядвига. В столовой им была обнаружена мать, не подающая признаков жизни. В отчаянии Александр кинулся за помощью к доктору Бородулину, который проживал этажом выше, в надежде, что еще можно спасти Ядвигу. А когда он выбежал в сени, то увидел впереди себя убийцу матери и сестры, тоже выбежавшего в сени, но со стороны залы. Преступник очень быстро миновал переднюю и выскочил на улицу, так что преследовать его уже не имело смысла. Александр только успел запомнить, что у преступника была узкая спина, приподнятые плечи и бритый затылок. И одет он был в черное полупальто.

А потом все пошло своим чередом: семилетнюю Ядвигу отвезли в Детскую клинику на Девичьем поле, приехала полиция во главе с помощником пристава Холмогоровым, начались допросы и следствие. Обнаружение в спальне четы Кары открытого сундучка, где хранилось семейное добро, а также валявшихся у двери пятисотрублевой и сотенной купюр навело Холмогорова на мысль, что преступник в отсутствие хозяина проник в квартиру с целью ограбления. Он знал, что Алоизий Кара всегда по субботам уезжал в чешский клуб, поскольку был чехом и австрийским подданным, и что в квартире находятся одни женщины, с которыми он намеревался легко справиться. И справился: хладнокровно зарубил их загодя припасенным колуном. Но закончить свой преступный умысел ему помешал вбежавший Александр Кара. Он бросился на крик младшей сестры и спугнул смертоубийца, у которого при бегстве выпали деньги, похищенные из сундучка в спальне и обнаруженные помощником пристава Холмогоровым. Только вот как на кухне оказался окровавленный колун? Это был вопрос вопросов, поскольку на кухню, где дожидался Василия Титова Александр Кара, преступник попасть никак не мог...

В ходе следствия, к которому подключился начальник московского сыскного отделения коллежский советник Лебедев, под подозрение попали четыре человека: проживающий в Божениновском переулке и имеющий звероподобный вид крестьянин Иван Гаврилов, отбывший четыре года в исправительном арестантском отделении, нищий немец Рауль Шнитке, побирающийся в Хамовниках, слуга семейства Кара Василий Титов и... сам Александр Кара. Последний попал под подозрение благодаря нахождению орудия убийства – того самого окровавленного колуна – на кухне, где, по показаниям самого Александра, он дожидался слугу Василия Титова.

В ходе следствия Шнитке и Титов из числа подозреваемых отпали, а вот Иван Гаврилов и Александр Кара были «оставлены в серьезном подозрении». Но поскольку никаких прямых улик против них не имелось, дело о двойном убийстве в Хамовническом переулке было вскоре закрыто «за ненахождением виновных» и положено на полку нераскрытых дел...

Конечно, такой результат никак не мог удовлетворить Алоизия Осиповича Кара, потерявшего жену, старшую дочь и сделавшегося отцом искалеченной младшей дочери Ядвиги. Пивовар, недолго думая, написал на имя государя императора письмо-жалобу, где просил державного венценосца защитить его интересы, как иностранного подданного, и найти убийцу членов

его семьи. Государь проникся, поддержал несчастного вдовца и обратился в Сенат с просьбой провести по делу о двойном убийстве в Хамовническом переулке новое следствие. Правительствующий Сенат данную просьбу посчитал приказом и поручил Судебной палате возобновить следствие по делу гибели семьи Кара. А его превосходительство московский окружной прокурор действительный статский советник Завадский поручил это дело Ивану Федоровичу Воловцову. Дело получило статус наиважнейшего, а судебный следователь Воловцов стал обладателем документа, предписывающего всем чинам и должностным лицам оказывать ему в расследовании двойного убийства в Хамовническом переулке всяческое посильное содействие...

Иван Федорович начал с того, что вдоль и поперек изучил само дело и прочел не по одному разу все протоколы допросов.

Затем снял со свидетелей новые показания, заставив припомнить детали, которые не вошли в первые протоколы допросов. Некоторые из этих деталей явно наводили на мысль, что убийца не кто иной, как Александр Кара, хотя в голове просто не укладывалось, что сын может убить любящую мать, сестру и покушаться на жизнь младшей сестры...

Укрепившись в своих подозрениях, Воловцов стал плести вокруг Александра Кара сеть. Тот это почувствовал и предпринял ответный ход, в результате которого Иван Федорович имел весьма нелицеприятный разговор с окружным прокурором Завадским, закончившийся тем, что прокурор дал Воловцову на расследование дела всего неделю, после чего, если убийца не будет найден, пообещал отстранить его и передать дело другому судебному следователю.

Шли день за днем, а Воловцов не мог найти против Александра ни одной прямой улики. А у того, похоже, стали сдавать нервы. Он явился в полицию с заявлением, что знает, кто убил его мать и сестру, и показал на Ивана Гаврилова... Конечно, Гаврилов был арестован, и дело могло вот-вот закрыться, так и оставив преступника разгуливать на свободе. Но Воловцов, сговорившись с начальником московского сыскного отделения Лебедевым, устроил для Александра Кара ловушку. Воловцов переговорил с профессором Прибытковым, московским врачебным светилом, под наблюдением у которого находилась бедная Ядвига Кара, чтобы тот сказал отцу и сыну Кара, что будто Ядвига пошла на поправку и не сегодня-завтра назовет имя убийцы. Обеспокоенный Александр решил довершить начатое и убить Ядвигу, ставшую для него крайне опасным свидетелем. Он проник ночью в Детскую клинику, зашел в палату, где лежала сестра, и намеревался задушить ее подушкой, но ему помешали это сделать Воловцов и Лебедев. Более того, у них имелся свидетель покушения на убийство Александра Кара – странная клиника. Триумфальное завершение дела в связи с нахождением и обличением преступника, причем в последний день срока, данного окружным прокурором Завадским Ивану Федоровичу, делало судебного следователя Воловцова героем дня и несомненным победителем. После такого дела судебному следователю по наиважнейшим делам Департамента уголовных дел Судебной палаты Ивану Федоровичу Воловцову действительно можно было дать отдохнуть и побольше, нежели один день. Но пути начальства, как и пути Господни, неисповедимы...

Итак, поблагодарив Радченко за теплые слова в его адрес, Иван Федорович присел на предложенный стул и весь обратился во внимание. Ведь вызван он был к десяти утра – время, весьма раннее для председателя Департамента уголовных дел Судебной палаты, – потому что для него было уготовано новое дело, которое Радченко и собирался поручить ему, судебному следователю Воловцову, выпавшемуся, как он сам признался, «на неделю вперед». Наверное, лучше было бы не говорить таких слов...

– Как я вас ранее и информировал, – начал Радченко, – вам поручается вести следствие по новому делу, которое мы условно назвали «Убийство коммивояжера». Расскажу вам коротко суть дела: в Дмитрове две недели назад, то есть семнадцатого сентября сего года, в меблированных комнатах Малышевой остановился коммивояжер Григорий Иванович Стасько,

приехавший из Москвы с двумя корзинами карманных и наручных часов и весьма приличной суммой денег. На следующий день его нашли мертвым, с признаками насильственной смерти, причем номер был заперт изнутри, а окна закрыты. Деньги исчезли, кроме того, похищено более двух десятков золотых и серебряных преимущественно женских часов. Местная полиция и следователь зашли в тупик, поскольку главного виновника убийства обнаружить не удалось. Владелица меблированных комнат мещанка Глафира Малышева и ее младшая сестра Кира арестованы по обвинению в соучастии и укрывательстве преступления и в настоящий момент содержатся в Дмитровской следственной тюрьме. Привлечена и арестована за подстрекательство к убийству московская мещанка Зинаида Кац. Дело в том, что полтора месяца назад Григорий Стасько помог полиции найти и задержать ее мужа Хаима Каца, находящегося под следствием и в розыске за присвоение денег у разных лиц, в том числе и пятисот рублей у Стасько. По задержании Хаима Каца его жена Зинаида заявила Стасько, что это ему даром не сойдет и что вскорости он будет убит. Месяц Стасько не выходил из дома, опасаясь мести, однако коммерческие дела требовали своего разрешения, и в первый же его выезд по делам он, как видите сами, был убит. Так что Зинаида Кац арестована и содержится ныне в Бутырской тюрьме. Однако все улики против них косвенные... Хороший присяжный поверенный без особого труда развалит дело против этих трех женщин, и присяжные заседатели непременно вынесут им оправдательный вердикт. Суд будет вынужден освободить их от полицейского надзора, то есть не оставит даже в подозрении. После чего дело об убийстве коммивояжера можно класть на полку нераскрытых дел в архив, что, как вы сами понимаете, – Радченко при этом со значением посмотрел в глаза Ивана Федоровича, – для нас крайне нежелательно. Поэтому дело это возведено в разряд наиважнейших и поручается вам, уважаемый Иван Федорович. С деталями дела и протоколами допросов свидетелей вы сможете ознакомиться в Дмитрове в полицейской управе...

– Ясно, Геннадий Никифорович, – поднялся Воловцов. – Разрешите приступать?

– С чего начнете? – заинтересованно посмотрел на него председатель Департамента уголовных дел.

– Побеседую сначала с супругой убиенного коммивояжера Стасько, – охотно ответил судебный следователь по наиважнейшим делам. – Потом сниму допрос с подстрекательницы Зинаиды Кац. Если же ничего не будет держать в Москве, поеду в Дмитров...

– Хорошо, – согласился с доводами Воловцова председатель Департамента. – Зайдите в канцелярию, получите все нужные бумаги и деньги на командировочные расходы. И... желаю вам удачи!

– Благодарю вас, – пожал протянутую ладонь Иван Федорович и покинул кабинет Радченко.

Новое дело... Три женщины, непосредственно не убивавшие, но принимавшие косвенное участие в убийстве и, возможно, знающие преступника... Ладно, поглядим, что к чему...

Глава 2

«Это она настоящая убивица», или Допрос в Бутырьках

Супруга коммивояжера Стасько с двумя детьми, восьми и двенадцати лет, проживала в Замоскворечье в собственном доме с мезонином по Арсеньевскому переулку в квартале от Конной площади. Встретила Клавдия Стасько судебного следователя отчего-то настороженно, на вопросы его отвечала весьма неохотно, с необъяснимой опаской. Но когда речь зашла о Зинаиде Кац, сделалась ядовитой и шипящей, какой может быть только кобра, поднимающая голову. Понять ее, конечно, можно: убили мужа-кормильца и, вполне возможно, не без участия этой самой Зинаиды...

– Этот Хаим Кац – мошенник! Насобирали денег у многих торговцев и держателей лавок в Замоскворечье. У Власа Полуянова, купца Никиты Севастьянова, ювелира Генриха Фонгаузена, часовщика Яцека Мандалевича, еще у кого-то, всех и не упомнишь... – с дрожью в голосе, выдававшей бурлящее желание праведной мести, говорила Клавдия Васильевна. – У моего Гриши пять сотен взял, сволочь эдакая. Под ходовой товар, который он якобы должен был привезти из Варшавы. И сгинул, гадское отродье. Сказывали, тыщ двенадцать набрал денег серебром! Не худо, правда? – Стасько посмотрела на Воловцова, ища сочувствия, и Иван Федорович понимающе кивнул. – Искали его, в полицию заявляли. Оказалось, ни в какую Варшаву он не ездил и вообще, похоже, из Москвы даже не выезжал. Но как найдешь его в таком городе, как Москва? Поначалу за домом следили – вдруг к семье своей заявится? Потом слезку сняли, а самого Каца объявили по всем губерниям в имперский розыск. Тогда Гриша мой и Никита Севастьянов, его хороший приятель, сами стали за домом присматривать, благо он недалеко тут стоит, на Большой Серпуховской возле новой богадельни для душевнобольных... И заметили, что по вечерам к Кацам зачастила какая-то высоченная худая старуха. Идет к ним, а сама оглядывается, будто опасается кого. Однажды после ее прихода Гриша решил в окошко к Кацам заглянуть и разговор подслушать, поскольку они с Севастьяновым полагали, что старуха эта весточки от Каца супружнице его носит... Ну, пробрался Гриша во двор, к окошку прильнул и слышит, что старуха-то мужицким голосом разговаривает. А как платок-то сняла – глядь, а это сам Кац и есть. Ну, Гриша мой бегом в Серпуховскую часть, нашел помощника пристава и все ему выложил: что, дескать, разыскиваемый по всем губерниям мошенник и подлюга Хаим Кац находится у себя дома в бабьем, стало быть, обличье. Помощник пристава снарядил наряд, сам собрался, обложили дом Кацов, ну, и Хаима-то тепленьким и взяли. Прямо, говорят, в постельке Зинаиды его и заарестовали. Без порток. Орала Зинаида Захаровна благим матом «на всю ивановскую», как потом мне Гриша рассказывал. А затем объявила во всеуслышание, что это ему, Грише, даром не сойдет и что он уже не жилец на этом свете, вскорости его-де убьют, как шелудивого пса. Видите, – шмыгнула носом Клавдия Васильевна, – так оно и вышло...

– Сочувствую, – искренне отозвался Иван Федорович и действительно сочувственно посмотрел на женщину. – Но, может, это только одни угрозы были, а до дела с ее стороны и не дошло? Ведь вы же знаете, так часто бывает: насолят человеку сильно, вот он в ярости и грозит убить, но далее угроз его действия не идут...

– Нет! – Клавдия Стасько так гневно зыркнула на Воловцова, что того едва не передернуло. – Это были не только угрозы, господин судебный следователь. Опосля арестования Каца я двух подозрительных типов видела подле нашего дома. Мнутся, будто кого-то ждут, папиросы одну за другой курят и все на наши окна поглядывают. У этой Зинаиды Кац четверо братьев имеется и, вообще, родни по Москве навалом. Верно, кто-то из них возле нашего дома тогда и терся. А однажды слышу, – Клавдия Васильевна перешла почти на шепот, – возле окон наших

шоркается кто-то. Ну, я осторожненько занавесочку отодвинула, гляжу: стоят. Опять двое. Те или не те – не разглядела, поскольку темно уже было. А потом слышу один другому и говорит: «Вот здесь, дескать, эта собака Стасько и проживает»...

– А в полицию вы по поводу этих двоих обращались? – спросил судебный следователь по наиважнейшим делам.

– А то! – Клавдия Васильевна посмотрела на Воловцова, как на больного. – В тот самый день и пошла, когда те типы возле нашего дома папиросы курили. Только мне в участке ответили, что ничего-де поделывать не могут, поскольку никакого состава преступления у этих двоих покудова не наблюдается. Мол, стоять граждане российской империи могут где угодно и когда угодно. И курение папирос, мол, покуда нашим законодательством не запрещено. Месяц, ровно месяц Гриша дома безвылазно просидел, бедняжка, – покачала женщина головой, едва не плача. – Все дела свои забросил, убытку неисчислимого сколько понес. И я его не пускала, да и он сам из дома не рвался, мести со стороны кацовской родни опасался. И не напрасно. Только из дому вышел, так его в первую же поездку и убили...

Стасько хотела еще что-то добавить, поперхнулась и быстро отвернула лицо в сторону.

– Ясно, – подытожил нелегкий разговор со вдовой коммивояжера Стасько Иван Федорович. Что эта Зинаида Кац могла заказать Григория Стасько – и к гадалке не ходи. Женщины – создания на мечь падкие и всегда готовы ее совершить. Хлебом их не корми, дай только подлость, а то и жестокость какую обидчику своему содеять. А тут – мужа у женщины отняли. Кормильца. Такая запросто могла кого-либо из родни подговорить на убиение коммивояжера. За деньги, конечно, которые, надо полагать, у Зинаиды Кац имелись. Ныне такие времена пошли, что и за сотенную, не моргнув, пришить могут...

– Да вы не сомневайтесь, господин хороший, – акkurat в унисон мыслям судебного следователя произнесла Клавдия Васильевна, снова повернувшись к нему. – Эта Зинка Кац – настоящая убивица моего мужа Гриши и есть...

– Вы, значит, в этом уверены, – скорее констатировал, нежели спросил Иван Федорович.

– Уверена! – воскликнула вдова коммивояжера и для пущей убедительности истово перекрестилась...

«Бутырки»...

Нечто отчаянно-безнадежное присутствовало в самом этом слове. Будто на что-то важное, что прежде составляло мечты и душевные чаяния, обрушилось навсегда, и оставалось лишь в сердцах махнуть рукой, всем разом, дескать, «ну, и хрен с ним»...

Само словечко – «бутырки» – пришло с Волги и означало не что иное, как человежье жильё на отшибе. Бутырки и были раньше таковым жильём: на месте тюремного замка на обочине дороги, некогда ведшей в город Дмитров, стоял скромный починок, выросший в небольшую деревню в полсотни с лишком дворов – вотчину боярина Никиты Романова-Юрьева.

Молодой царь Петр превратил деревню в солдатскую слободу, где квартировался полк полковника Матвеева. И стала деревня большой казармой...

Екатерина Великая поселила в старые казармы бравый гусарский полк, прозванный по месту дислокации Бутырским. А в одна тысяча семьсот семьдесят первом году гусарские казармы были отданы под тюремный острог. К нему крепко прилепилось старое название – Бутырки, то есть тоже поселение и тоже на отшибе. Собственно, так оно и было в действительности, тюрьма и есть обочина жизни...

После пугачевского бунта надобность в таких вот «обочинах жизни» возросла многократно. И императрица Екатерина Алексеевна отдала распоряжение: вместо деревянного острога выстроить каменный тюремный замок, чтобы держать уголовных, а тем более государственных преступников за крепкими мурованными стенами в большей строгости, нежели в прежние времена. Дабы отнять охоту у каждого сидельца бунтовать супротив существующих

самодержавных устоев и совершать законопротивные проступки лишь только из одной боязни вновь угодить в Бутырский острог.

Строительство было поручено надворному советнику архитектору Матвею Казакову. Он исполнил все в точности по чертежам, полученным от самой императрицы: храм Покрова Пресвятой Богородицы с четырьмя тюремными корпусами, примыкающими к храму.

Тюрьма получилась мощная и угрюмая: раз попал, во второй – не захочется. Однако простояла она недолго: тридцать лет назад все четыре корпуса снесли, и по проекту губернского инженера-архитектора Шимановского была, практически, выстроена новая тюрьма с корпусами и башнями, не менее впечатляющая и угрюмая, нежели прежняя. В одной из башен, Пугачевской, прозванной так вначале сидельцами, а затем и администрацией Бутырок, поскольку в ней еще до реконструкции тюремного замка сиживал в кандалах казачий царь Емельян Пугачев, ожидала окончания следствия Зинаида Захаровна Кац, в девичестве Жилкина...

Не менее получаса понадобилось Ивану Федоровичу, чтобы войти в тюремный замок, получить «добро» на посещение заключенной, дойти до Пугачевской башни, где томились женщины, ожидавшие суда и последующей ссылки, подняться почти в кромешной темноте по узкой винтовой лестнице и попасть в одну из одиночек, где находилась Кац. Всего камер в башне было четырнадцать. Кац сидела в «светлой камере», имеющей небольшое оконце, забранное решеткой изнутри и проволочной сеткой снаружи. Стало быть, имелись в башне и «темные камеры», очевидно, вовсе без оконцев и напрочь лишённые света... Но и в камере Кац светлого, собственно, ничего не было: дневное освещение гасилось решеткой и сеткой, толстые стены темнели от сырости, и все это, скорее, напоминало подвал в средневековом замке, нежели современную тюрьму, сравнительно недавно выстроенную...

Когда лязгнули запорами двери и Воловцов вошел в камеру, на него обрушился поток сырого и затхлого воздуха. Так пахнет из погреба с проросшей картошкой, когда открываешь его крышку и делаешь по лестнице первые шаги вниз.

Камера была небольшой, если не сказать, крохотной. У самого входа – отхожее место и раковина. Чуть далее у оконца – металлические стол со стулом, привинченные к полу, и кушетка-нары, прикрепленные к стене. На этом меблировка камеры заканчивалась. На кушетке лицом к двери сидела и смотрела на Воловцова женщина лет под сорок, в своей одежде, в которой, видимо, и была арестована и привезена в крепость.

– Здравствуйте, – сдержанно поздоровался Воловцов и присел на стул, сразу почувствовав холод железного сиденья. – Я судебный следователь Воловцов, назначен Департаментом уголовных дел Судебной палаты расследовать дело об убийстве и ограблении в городе Дмитрове коммивояжера Григория Ивановича Стасько.

Женщина молчала и смотрела на Воловцова, как ему показалось, довольно безучастно.

– Вы разрешите задать вам несколько вопросов? – мягко спросил Иван Федорович.

– Задавайте, – пожала плечами Зинаида Кац. – Только я к убийству Григория Стасько не имею никакого отношения. Это ведь Клавка меня сюда упрятала, верно? За неосторожные слова...

– Неосторожные слова? – удивленно поднял брови Воловцов. – Хм... Которые сбываются в первый же выезд коммивояжера из дома? Если вы считаете это простым совпадением, то следствие так не считает...

– Да послушайте! – Кац уже не казалась спокойной и безразличной. – Точно такие же слова могла и сама Клавка сказать, если мой муж, к примеру, сдал бы его полиции, например, за растрату казенных средств. Сгоряча все что угодно можно сказать. Но это не значит, что за словами обязательно последует обещанное действие...

– Может быть, – вынужден был согласиться Воловцов. – Однако это не она, а вы пообещали, что Григория Стасько убьют, как «шелудивого пса». Причем прилюдно. И ваше обещание сбылось...

– Ну, слова – это еще не доказательство, – зло произнесла женщина. – И на суде меня оправдают...

– Не факт, – спокойно возразил ей Воловцов.

– А если меня не оправдают, то это будет означать, что вы почему зря осудили невинного человека, – вновь огрызнулась Зинаида Кац.

Воловцов внимательно посмотрел на женщину, теперь он понимал обманчивость своего первого впечатления, дух в ней был не сломлен. – А настоящий убийца преспокойно будет разгуливать себе на свободе и злорадствовать. Вам как, спокойно будет спать после этого?

– Если вы расскажете, кого наняли для убийства Стасько, и будете искренне помогать следствию, может, вас только отправят на поселение... – не очень убедительно произнес Иван Федорович.

– Хрен редьки не слаще, – криво усмехнулась Кац. – Только я никого не нанимала. А слова эти, признаюсь, сказала сгоряча. Зря сказала... И на этом все.

Она подняла глаза и уперлась взглядом прямо в Воловцова. Иван Федорович понял, что на этом и правда все. Больше она ему ничего не скажет. А главное: если он не отыщет настоящего убийцу или нанятого Кац исполнителя, ее на суде действительно оправдают. Вне всяческого сомнения...

Глава 3

Графский сын, или Знаки и знамения надлежит примечать

На селе сказывали, что он – графский сын. Лез в драку, когда его так называли местные пацаны, даже если они были вдвое его старше. Однажды, когда ему в очередной раз разбили в кровь нос, он пришел к матери и напрямую спросил, правда ли, что он графский выблядок и, главное, что это значит?

– Выблядок – слово плохое, злое. И ни к тебе, ни ко мне оно никак не вяжется... Придет время, сам все узнаешь, милый мой, – загадочно ответила мать, и глаза ее затуманились поволокой. – А называют тебя таким словом потому, что ты – сын человека благородных кровей, и все деревенские тебе не ровня. Понимаешь меня, сынок?

Он кивнул: да, мол, понимаю. Было тогда Жорке Полянскому пять годков. С тех пор, когда его обзывали графским выблядком, он лишь усмехался в ответ, задира л кверху нос и презрительно цедил сквозь зубы:

– Зато ты – мужицкий сын, лапотник, черная кость...

Жора и правда хорошо понял материнские слова...

Не единожды за «лапотника» и «черную кость» получал Жорка по этим самым зубам, но неотступно продолжал отвечать на «графского сына» «мужицким сыном, черной костью и лапотником».

Со временем сельская пацанва от него отвязалась и «графским сыном» дразнить перестала, но слова матери, что он не чета всем деревенским, крепко засели в его голове...

Восьми лет от роду Жорка был отдан в земскую школу с трехгодичным обучением, где научился писать, читать, считать и громко распевать церковные псалмы. Ибо всех детей в количестве двадцати восьми душ, в числе которых были и четыре девочки, обучали в школе лишь русскому языку, чистописанию, арифметике, церковному песнопению и Закону Божьему. Впрочем, для русского человека из глухого села такое образование считалось вполне достаточным, чтобы со временем иметь возможность «выйти в люди».

Жорка стал «выходить в люди», начиная с четырнадцати лет, когда стараниями матери был принят на службу в волостную контору переписчиком бумаг. Однако большую часть времени он бездельничал и валялся на лавке, поскольку служба в волостной конторе была, в чем Георгий Полянский ничуть не сомневался, не для его «белой кости» и «голубых» дворянских кровей. Вначале волостной староста сделал ему внушение, которое не возымело никакого результата, затем последовал разнос и распеканция, после чего его уволили со службы, попросту говоря, выгнали взащей.

Год Жорка проваландался без дела, покудова, опять-таки чаяниями матери, не устроился сидельцем в кабак. Вот эта работа пришлась ему по нраву. Не шибко обременительно, не скучно, никакой писанины, а главное, тут были деньги, нескончаемым ручьем оседавшие в карманах хозяина, приказчика, полотеров. Особенно обильно, едва ли не цельной рекой, деньги текли по церковным праздникам...

Конечно, быть у воды и не пригубить совсем не в характере Жорки, а потому кое-что от кабацкой выручки прилипало к его рукам. Он и так был хорош собой: высокий, статный, с правильными и тонкими чертами лица, лишь подтверждающими его барскую породу, с курчавыми волосами и уже намечавшейся русой бородкой, так же кудрявившейся, он привлекал внимание многих сельских красавиц. Ну, а когда обзавелся красной шелковой рубахой, плисовыми штанами, картузом с лакированным козырьком и сапогами гармошкой и стал развезжать по селу в собственном двухколесном шарабане, запряженном гнедой красавицей с развеваю-

щимися лентами да бантами, сельские прелестницы складывались штабелями у его ног совершенно самостоятельно, без каких-либо усилий с его стороны. Жора только выбирал, с кем он будет нынче «гулять», а когда наскучивала одна прелестница, ей на смену тут же заступала другая. Парни в шестнадцать лет только мечтают о девичьей ласке и красе и в истоме ворочаются ночами, а Жора Полянский имел уже такой внушительный любовный опыт, каким редко может похвастаться иной мужик в возрасте.

К восемнадцати годам стали его на селе величать не иначе, как Георгием Николаевичем, поскольку записан он был в метрической книге Никольской церкви Николаевичем. Тогда же, в восемнадцать лет, он узнал от матери, что отцом его является граф Николай Григорьевич Хвощинский из славного дворянского рода, родоначальником которого был боярин Матвей Васильевич Софроновский, по прозвищу Хвощ. Ровно через десять лет после царского манифеста, дарующего крестьянам вольность и свободу, приезжал погостить в имение Полянки, коим владел полковник и многих орденов кавалер Виктор Иванович Лихачев, его старый товарищ и сослуживец по лейб-гвардии Измайловскому Его Величества полку отставной генерал-майор граф Григорий Николаевич Хвощинский. Приезжал не один, а с сыном, поручиком лейб-гвардии Егерского Его Величества полка графом Николаем Григорьевичем Хвощинским. Самсония Полянская тогда была взята в дом прислужницей и подавала гостям кушанье на стол. Молодой Хвощинский явно скучал со стариками и быстро увлекся пригожей и статной девушкой, после чего пребывание в имении друга отца уже не казалось ему в тягость.

После обеда, когда старики отдыхали в своих комнатах, поручик ни на шаг не отступал от Самсонии и к вечеру настолько завоевал ее расположение, что она согласилась выйти ночью в сад. Это было ее первое свидание, на котором случился и ее первый в жизни поцелуй, да такой сладкий, что закружилась голова, в животе запорхали бабочки, и она пошла вместе с поручиком в его комнату. А вышла, уже когда стало рассветать...

Всю неделю пребывания Хвощинских в имении полковника Лихачева она была несказанно счастлива. Николенька, как звала его мысленно Самсония (ни в коей мере не позволяя называть его так вслух), был обходителен и ласков, говорил такие ласковые слова, от которых туманилось в голове, и касался ее столь нежно и трепетно, что напрочь подкашивались ноги. Каждую ночь пребывания господ Хвощинских в Полянках Самсония приходила в комнату поручика, и они предавались любви страстно, томно и ненасытно. А утром уходила, светясь от счастья.

Это чувство еще продолжало теплиться в душе, согреваемое воспоминаниями, когда отец и сын Хвощинские уехали. И закончилось, когда Самсония понесла. Почти полгода она, как могла, скрывала свою нежданную беременность, но бабы на селе все заприметили. А вскоре все селяне Полянок уже знали, что Самсония Полянская ждет ребенка от молодого графа Хвощинского. Бабы, когда она проходила мимо, шурились и ядовито шептались, старухи плевали ей вслед, мужики провожали долгими взглядами и негромко обменивались между собой едкими словечками, а бойкие пацаны пускали в спину Самсонии и вовсе не хорошие и поносные слова. Но Самсония Полянская не рвала на себе волосы, не посыпала голову пеплом и не пыталась кусать локти: все ее помыслы были сосредоточены на будущем ребенке. К тому же, кто еще на селе, да и во всей волости, если не в уезде, мог похвастать тем, что носит во чреве графское дитя?

Самсония на сельчан не сердилась: что ж, дело известное, злы люди, слабостей не прощают, хотя и надо бы, ибо слабость не подлость и зла никому не чинит. Полянская – а в Полянках полсела были Полянские, а остатняя часть села носила фамилию Никольские, – не скрываясь, ходила по селу с животом, зная материнским чутьем, что будет сын, разговаривала с ним, пела песни, когда они оставались одни, и он, казалось, слушал ее.

– Ты с ним, Сима, говори, говори, – учила ее повитуха бабка Параскева, – ребятенки в утробе все слышат и все чувят, и голос матери различают и признают, он их завсегда успокаивает...

Родила Самсония в бане. Бабка Параскева, принявшая роды, почитай, без малого, у сотни селянок, то гоняла ее на полог, то велела спускаться, а когда начались схватки, велела стать на карачки и выгибать спину, потягиваясь, как потягиваются, проснувшись, кошки.

– Дыши медленно покудова, – поучала повитуха. – На счет один-два-три-четыре вдыхай, на счет от одного до шести – выдыхай. Да вдыхай носом, а выдыхай ртом.

Когда вот-вот должно было родиться дитя, бабка Параскева заставила Самсонию лечь на лавку, раздвинуть ноги «поширше» и дышать мелко и часто. А потом показался ребенок. Вышел он легко, без трудностей; бабка приняла его в чистое полотенце, и дитя заорало на всю мыленку благим матом.

– Скажи ему что-нибудь, – немедленно потребовала повитуха.

– Георгий, сыночек мой, – тихо проговорила молодая мать. И ребенок, услышав и узнав голос матери, мгновенно успокоился. Так появился на свет Георгий Николаевич Полянский, первый парень на селе...

Так уж в жизни заведено, что все, имеющее начало, имеет и конец. Кончилось беззаботное счастье и разгульное житие Жоры Полянского. Кабатчик как-то в одночасье разорился, питейное заведение прикрыли, и остался графский сынок снова не у дел. А безделие, как известно, к добру не ведет. Появились дружки-приятели, такие же неприкаянные, как Жорка, пахать-сеять не приученные и промышлявшие делами отнюдь не благовидными. А тут еще стала обхаживать его солдатская вдова Шура Никольская, бабешка в любовных делах опытная и умелая, при сдобном теле и сладкая донельзя! Есть такие на селе: и красавицы не первые, да столь ладненькие и аппетитные, что коли вышел бы указ царский, что православным, одинаково, как и басурманам, можно по четыре жены иметь, то выстроилась бы к Шурке Никольской из мужиков да сватов очередь до самой Соломки-реки, не иначе. Есть такие бабы, супротив которых устоять нет никакой возможности, будь ты хоть юноша прыщавый, хоть мужик степенный да семейный... А к бедовой Шурке так еще и уездный исправник Степан Иванович Полубатько время от времени захаживал, чайку попить, покалякать о делах праведных да телесную надобность мужикову справить. Ну, как такому большому начальству откажешь? А Жорка сильно привязался к вдовице. И хоть она его годков на десять постарше была, так ведь любви не прикажешь. Особенно, когда шибко охота...

Однажды приехал Степан Иванович в неурочное время. А у Шуры в гостях пребывал Жора, и не просто гостем, а прямо-таки в постеле прохладился, любовные ласки с большим удовольствием принимая. Исправник, как увидел такое непотребство, в ярость неопишемую пришел и давай стегать обоих плетью по голым телесам. Жорка хоть и молод был, но спуску никому не давал и подрастья совсем не промах. Когда на Масленицу или по уговору сходились Полянские с Введенскими на льду Соломки на кулачках драться стенка на стенку, так Жорка в запасных был, то есть придерживался до поры. Но как только Введенские начинали ломить Полянских – выпускался. Удар у него был тяжелый – никакой гирьки в кулак зажимать не надобно: валил супротивника с ног сразу. Вот и сейчас, не успел Полубатько в очередной раз замахнуться, чтоб его плетью огреть, Жорка руку его ловко перехватил, назад завернул, а с левой так исправнику ударил, что выбил четыре передних зуба и лишил природных чувств.

С полчаса провалялся Степан Иванович в Шуркиной избе бесчувственным поленом. Когда же в себя пришел, выплевывая зубы с кровью, то Жоркин след уже давно простыл. И тогда пообещал уездный исправник за невиданное непотребство и поднятие руки на полицейского при исправлении обязанностей служебных самую страшную земную кару – каторгу! Перепуганной Шурке пообещал, но, в действительности, самому себе. Тотчас арестовывать

Жорку за выбитые зубы Полубатько не стал: неловко как-то перед подчиненными и сослуживцами, да и слишком много чести будет оказано этому сопляку, чтобы из-за бабы мстить! Поступил он иначе и значительно хитрее. Организовал слежку за Полянским, мотивируя ее тем, что находится, мол, житель села Полянки Георгий Полянский под подозрением в участии в краже коней. В тот год уж шибко процветало в их волости конокрадство. То ли цыгане где табором встали, то ли конокрады попались умные и опытные и место тайное имели, где лошадей прятать, а только как ни шныряли урядники и стражники по деревням, становищам и оврагам, а лошадей краденых нигде сыскать не могли. А тут приятель Полянского, Колька Штырь, собрался к шурину в деревню Панкратовку, что за полста верст от Полянок расположена, самогону попить. Поехал не верхом, а по «железке», чтобы лошадь спяну не потерять. Мерина же гнедого Жорке оставил под присмотр. Вот он, долгожданный шанс для уездного исправника, неотрывно следившего через своих людишек за Жоркой! На следующий день нагрязнул Полубатько с обыском. Все чин по чину, с бумагой от прокурора, разрешавшей досмотр жилища и при необходимости арестование подозреваемого. Ну и нашли мерина гнедого.

– Чей мерин? – стал учинять допрос уездный исправник.

– Кольки Полянского, – ничего не подозревая, ответил Жорка. – Под присмотр он мне его оставил.

– А сам он где?

– К шурина уехал...

Осмотрели мерина и по клейму признали, что он из тех, что пропал еще полгода назад у одного коновода из Введенной слободы. Взяли тогда Георгия под белы ручки да и повели в уездную тюрьму. Суд, что состоялся через три месяца, вину Жорки, как укрывателя краденого, признал и направил парня отбывать полугодовой срок в арестантское отделение: конечно, оно не тюрьма-крытка, а все равно неволя тяжкая. Много чему научился Георгий за эти полтора года, в этой второй школе, благо хорошие учителя попались. А главное – узнал, что верить людям нельзя, и коли пошел по воровской дорожке, то ни к кому привязываться не следует и не нужно держать подле себя никого: ни баб, ни детишек, ни дома своего, потому как привязанность для вора – самое уязвимое место, через которое можно на него повлиять. И будешь, как рыба на крючке: и вроде бы трепыхаться получается, да не соскочить... А еще научили Жорку матерые сидельцы никаких обид не прощать и всегда оставлять последнее слово за собой. Иначе всю жизнь можно в «шестерках» да «парашниках» проходить, и уважения у фартовых никогда не заполучишь...

Воровскую науку Георгий постиг хорошо. Как возвратился с отсидки, первым делом наведился к Шуре-солдатке, чтобы узнать, ходит ли еще к ней уездный исправник Полубатько.

– Ходит, – обреченно ответила вдовица. – Куда ж ему, кобелине, еще ходить, не к супружнице же законной.

Георгий кивнул и прочь потопал.

– Вечером придешь? – с надеждой спросила ему в спину Шура.

Но ответа не дождалась...

В ближайшую субботу уездный исправник пожаловал в Полянки. На тройке прикатил, с лентами и колокольцами. Чтоб все знали – сам уездный исправник Степан Иванович катит...

Узнал об этом и Жорка Полянский. Подождал, покуда село накроет вечер, вышел незамеченным из дома, пробрался огородами к дому Шуры... Заглянул в окно и увидел, что разговоры между любовниками заканчиваются, недалеко уже и до любовных утех.

Стараясь не топтать сапогами, Жорка прошел в горницу.

Оба замерли: смешная картина, но всем троим было далеко не до смеха...

– Ты кто таков? – не сумел поначалу разглядеть в непрошеном госте Жорку уездный исправник Полубатько. – А ну, пошел вон, покуда цел!

– Ага, щас, – усмехнулся Полянский. – Только сперва стрелки на подштанниках наведу...

– Да знаешь ли ты, кто я таков? – продолжал пыжиться уездный исправник. – Да я...

– Головка ты от... – Жорка четко выговорил последнее короткое ёмкое слово и приблизился к постели. Шура видела, как Жора надел что-то на руку и спрятал ее за спину. – Узнаешь меня, хмырь болотный? – еще ближе подошел Полянский.

– Ты! – Даже в темноте было видно, как побагровел Полубатько. – Хочешь снова за решетку? Так я тебе это устрою!

Степан Иванович присел на кровати. Шура отодвинулась к стене и замерла. Исправник потянулся за штанами, что висели на спинке стула возле кровати, и тут страшный удар в висок повалил его на бок. Последнее, что он слышал и чувствовал, – как хрустнула, ломаясь и крошась, височная кость.

Шура открыла было рот, но Жорка приложил палец к губам:

– Тихо...

Где-то поблизости завывла собака, протяжно и тоскливо. Сказывают, так собаки по покойнику воют. Выходит, правду говорят... Степан Иванович Полубатько еще дергался и хрипел: жизнь не хотела покидать тело совсем не старого еще человека. Полянский левой рукой с силой сжал горло, чтобы не было слышно хрипа, а когда тело уездного исправника обмякло и затихло, посмотрел на Шуру:

– Скажешь кому – убью. Поняла?

– Ага, – сморгнула Шура. Теперь старшим был он, а она перед ним была просто маленькой и растерянной девочкой.

Через четверть часа вдовица, уже одетая, помогала тащить тело уездного исправника на зады огородов. Жора вырыл яму на месте картошки, благо земля была рыхлая, потом спихнул в нее тело уездного исправника и скомандовал женщине:

– Закапывай!

Шура послушно приняла лопату и стала суетно закапывать бывшего своего любовника. Глаза ее были сухими, а в мозгу попавшей в силочку птицей билась одна-единственная мысль:

«Что же теперь будет?»

Когда работа была закончена, Жора посмотрел на Шуру и вполне серьезно произнес:

– Теперь ты – соучастница убийства. И теперь ты, голуба, ничего не расскажешь...

Возвращались до избы молча. Шура думала, что сейчас Георгий станет к ней приставать и потребует ласки, против чего она бы не стала возражать: хотелось забыться хотя бы на полчаса, ну, хоть на четверть часа, поскольку то, что произошло, было ужасным, и не верилось, что это все случилось наяву. Но парень молчал. Когда дошли до избы, Георгий велел ей замыть кровь, а испачканную простынь сжечь в печи. И ушел. Вернее, укатил на тройке, нарочно не снимая колокольцев: ежели кто еще не спит, так пусть слышит, что исправник уехал из села...

Ехал Жора почти всю ночь. Коней с бричкой сбавил знакомому лошадиному барышнику из дальнего села, что стояло уже за границей их уезда, за треть цены, не торгуясь. И сгинул невесть куда...

Исправника хватились на третий день. В село приехал помощник исправника Ковалев, человек педантический и дотошный. А поскольку в уездной полиции всем была известна слабость Полубатько к вдовице Шуре, то к ней, в первую очередь, помощник исправника и заявился. Верно, носом почуял он неладное, поскольку чинил допрос вдове более часу. При чем задавал одни и те же вопросы, малость их изменяя и пытаясь подловить Шуру на лжи. Но та сказывала одно: да, мол, был у нее Степан Иванович, да ночью уехал.

– А куда уехал? – продолжал допытываться помощник уездного исправника, недоверчиво поглядывая на женщину и чуя, что она говорит меньше, нежели знает.

– Да почему же мне знать-то? – восклицала та, стараясь выглядеть искренней. – Оне начальство и мне не докладываются...

Выдавали Шуру руки да глаза. Ладони дрожали, а глаза бегали: явный признак, указывающий на ложь, о чем помощник исправника Ковалев знал не понаслышке, а по опыту и знакомству с инструкциями допросов, что выдаются строго для служебного пользования. Уехал помощник исправника к вечеру, а через два дня вернулся уже с судебным следователем. Молодым и тоже дотошным, по фамилии Воловцов. Вдвоем они повели правильный розыск по делу об исчезновении уездного исправника Степана Ивановича Полубатько, арестовали как подозреваемую солдатскую вдову Шуру и принудили-таки ее все рассказать.

Труп исправника откопали, провели медицинское освидетельствование по факту насильственной смерти Полубатько и пришли к заключению, что смерть наступила в результате нанесения «ушибленной раны и проломления левой височной кости с нарушением существа мозга». Последующее вслед за смертельным ударом удушение, признаки которого также были обнаружены на теле Степана Ивановича, причиной смерти уже не являлось...

По городам и весям губерний и уездов были разосланы приметы подозреваемого в убийстве преступника Георгия Николаевича Полянского, двадцати трех лет от роду, православного, уроженца села Полянки, Полянской волости, Зарайского уезду. Росту два аршина и девять вершков с половиною, лицо овальное, глаза серые, нос прямой, волосы, борода и усы русые. Особые приметы: таковых не имеется...

Полянский попался, можно сказать, по глупости. И причиной таковой глупости была опять баба. Не зря говорят, что все беды мужиковы – от баб. В самое яблочко сказано...

Девушку звали Глашей. Познакомились они в Подосинках, деревне старообрядцев-поповцев. Глаша с родителями и малой сестренкой приехала туда на празднование Недели Всех Святых, а Георгий жил у друга по арестантскому отделению Севки Воропаева, дожидаясь, когда справят ему умельцы фальшивый паспорт. У старообрядцев всегда скрывались беглые, а поскольку и те, и другие со властью не в ладах, стало быть, между собою они были в сговоре. Ну, а если и не в дружбе, то, по крайней мере, не во вражде...

Ох, как шибко тогда приглянулся Глаше парень, что гостил у их сродственника Севы Воропаева. Сам из себя видный, если не сказать – красавец писанный; взор острый, до самого нутра достающий, и сила в нем чувствуется недюжинная. С таким, коль позовет, можно и на край света бежать! Но он не звал и, кажется, вовсе не обращал на нее внимания. Это и мучило Глашу, и злило до крайности. Ведь все кругом говорили, что она – чудо, как хороша, а этот и бровью даже не поведет в её сторону. А самой подойти – воспитание не позволяет да гордость девичья. У старообрядцев с любовными вольностями строго...

Уж как только не старалась Глаша почаще попадаться Георгию на глаза, дабы заметил и оценил, – все безрезультатно! Ну, что за пень такой стоеросовый! Неужели не видит, что сохнет по нему красная девица! Конечно, такие парни всегда девичьим вниманием и привечанием избалованы, но глаза-то есть же у человека. Ведь девушка сама ему в руки идет, так почему ж не принять такой дар?! Тем более что никаких усилий с его стороны и не надобно, кроме как благосклонностью девицу одарить...

Глаза у Георгия Полянского, конечно же, имелись.

Нравилась ему эта девушка по имени Глафира. Но что-то тревожное, находящееся внутри, там, где прячется душа, удерживало его от отчаянного шага. Есть на свете нечто такое, к чему следует прислушиваться обязательно, имеются различные знаки и знамения, на которые следует обращать внимание всенепременно и делать из этого правильные выводы. Потому что они посылаются свыше не случайно и являются предупреждением о возможной беде или большом несчастье. Главное – заметить подаваемые сигналы и суметь понять их. Однако удается это далеко не всегда. К тому же надобно проявить недюжинную волю, чтобы, даже приметив такие знаки, поступить вопреки своему хотению. Вот этой воли Георгию Полянскому и не хватило...

Глава 4

Первая версия судебного следователя Воловцова, или Два коллежских советника

Ехать спешным порядком в Дмитров пока не имело смысла. Тамошние соучастницы и укрывательницы преступления арестованы и содержатся в следственной тюрьме, а главного виновника убийства уже давно и след простыл. А вот версию убийства коммивояжера Стасько по наущению Зинаиды Кац отработать бы стоило. Крепкая была версия, надежная. И начинать следовало с ее братьев, которых у нее четверо. А может, у главного сыщика Москвы есть что-нибудь на них?

– Давно не виделись, – усмехнулся начальник московского сыскного отделения Лебедев, протягивая Воловцову руку для пожатия.

– Давненько, – в тон ему ответил Иван Федорович, пожимая крепкую жилистую ладонь сыскаря. – Целых два дня.

– И одну ночь, – добавил Владимир Иванович. – Так что тебя опять принесло ко мне, господин следователь?

– Новое дело, господин сыщик, – ответил Воловцов. – И ты просто обязан мне помочь...

– Обязан? – удивился Лебедев. – Мы организация автономная и независимая от разных там судебных следователей, пусть даже и по наиважнейшим делам, над нами лишь только его превосходительство....

– Бумагу показать? – перебил его судебный следователь.

– Какую бумагу?

– С гербом, – хитро улыбнулся Воловцов. – Которая предписывает всем чинам и должностным лицам невзирая на их ранг и статус оказывать предъявителю данной бумаги, то бишь вашему покорному слуге, всяческое содействие и помощь в расследовании порученного мне дела, имеющего наивысшую степень важности.

– Ну, что ж, – улыбнулся в ответ начальник сыскного отделения, – против такой бумаги возражений нет и быть не может. Придется тебе помогать. В очередной раз. Ибо куда же вы без нас, сыскарей? Хе-хе...

– Это верно, – согласился Иван Федорович.

– Ладно, давай, что там тебя интересует, – стер с лица улыбку Лебедев. – Ставь задачу...

– А задача такова, – начал Воловцов. – В Бутырской тюрьме содержится подозреваемая в подстрекательстве к убийству некая мещанка Зинаида Кац, имеющая четырех братьев и многочисленную родню. И у меня к тебе просьба: мне надобно знать о её братьях и ближайшей родне все, что можно, и все, что нельзя. Главное – мне нужно знать, не выезжал ли кто из них семнадцатого сентября в город Дмитров. Сделать это надлежит как можно скорее, поскольку крайне неотложные дела ждут меня в городе Дмитрове, где при весьма загадочных и покуда не выясненных обстоятельствах произошло убийство человека с последующим ограблением.

– Ага, понимаю... То есть тебе нужно выяснить, есть ли у этих братьев и прочей родни алиби на день убийства, которым ты сейчас занимаешься? – спросил начальник московского сыскного отделения.

– Именно так, Владимир Иванович, – подтвердил Воловцов.

– И сколько ты мне даешь времени на сбор такой информации? – поинтересовался Лебедев.

– Сутки, – на полном серьезе ответил Иван Федорович. – Завтра в это же время я подойду. И, надеюсь, ты меня осчастливишь...

– Надейся, ну-ну, – пробормотал Лебедев, уже решая для себя, кого он загрузит поручениями, полученными от своего нового друга...

Воловцов и Лебедев были знакомы всего-то чуть более трех недель. Их знакомство состоялось тринадцатого сентября, когда Иван Федорович решил навеститься к начальнику московского сыска, поскольку Лебедев в декабре прошлого года подключался к ведению чрезвычайно запутанного дела о двойном убийстве в Хамовническом переулке и самолично допрашивал всех подозреваемых. Воловцов надеялся, что начальник сыска поделится с ним информацией, которая, возможно, не вошла в следственные материалы почти годичной давности. К тому же Ивану Федоровичу было интересно и крайне не лишне знать, что главный сыскарь Москвы думает об этом деле и его фигурантах.

Тогда Лебедев был полностью погружен в расследование, связанное с взрывом самодельной бомбы на Малой Ордынке, в результате чего изготовитель бомбы был разорван в куски. Путем сложения остатков тела и сложнейшего опознания неудачным изготовителем бомбы оказался член боевой организации эсеров Зигмунд Гаркави. От него цепочка потянулась к бывшему руководителю организации Герши Гершуни и одной из основательниц партии социалистов-революционеров Екатерине Брешко-Брешковской. Встал вопрос: для кого именно готовилась очередная бомба эсеров? Этот вопрос не давал Владимиру Ивановичу Лебедеву покоя ни днем, ни ночью...

Путем сложнейшей комбинации была выманена в Москву из подполья и арестована известная террористка Серафима Нахапет, самолично отправившая к праотцам московского обер-полицеймейстера статского советника Никиту Кондратьевича Коновалова и частного пристава надворного советника Карима Худайкулова. Пришлось с ней основательно поработать, после чего террористка призналась, что бомба в Малом Ордынском переулке готовилась для покушения на великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора и командующего московским военным округом, убить которого боевая организация, конечно, с благословления руководства партии социалистов-революционеров, постановила еще полгода назад. А еще Серафима Нахапет призналась, что о готовящемся покушении на его высочество знал его адъютант капитан Владимир Федорович Джунковский, весьма заметный масон одной из московских лож. Лебедев как раз занимался составлением плана разработки Джунковского, когда его посетил Воловцов. Они имели одинаковый чин – коллежский советник, но, конечно, не это послужило поводом к их почти мгновенной дружбе. Оба служителя закона были честны, прямолинейны, и оба, как выяснилось из последующего разговора, склонялись к версии, что убийцей супруги и дочери главного пивовара Хамовнического медопивоваренного завода Алоизия Осиповича Кара является его младший сын Александр.

Второй визит к Лебедеву Иван Федорович нанес двадцать девятого сентября, вечером. У него оставались в запасе лишь ночь и следующий день из недели, отпущенной ему окружным прокурором московской Судебной палаты действительным статским советником Завадским на расследование этого убийства. После чего должно было последовать отстранение его от дела и перепоручение ведения расследования другому судебному следователю. Но Воловцов придумал план, как взять убийцу с поличным. И привлек к исполнению этого плана Лебедева. У них все получилось, после чего приятельские отношения мгновенно перетекли в дружеские...

Второго октября, как и было обговорено, Иван Федорович снова заявился к Лебедеву. Начальник московского сыска принимал в это время отчет от одного из своих агентов, поэтому Воловцов решил подождать его завершения в приемной. Через четверть часа агент покинул кабинет главного московского сыскаря, и судебный следователь Воловцов вновь предстал перед Лебедевым.

– Слушай, у меня такое впечатление, что ты так и не покидал моего кабинета со вчерашнего дня, – глядя на него, улыбнулся Владимир Иванович. – Прямо прописался в нем... Может, в секретари мои поступишь? А что, из тебя получится вполне дельный секретарь...

– У тебя уже есть секретарь, – ответил Воловцов. Судя по настроению Лебедева и по тому, как встретил сыскаря судебного следователя, вчерашняя просьба, похоже, была исполнена. – И у меня к тебе встречное предложение. Давай, я тебя в помощники к себе возьму. Знаешь, есть вакансия. А что, малый ты проворный, весьма смысленный, мне как раз такого не хватает...

– Смысленный? Проворный? – густо хохотнул Лебедев. – Что ж, благодарствуйте за приглашение, господин судебный следователь по наиважнейшим делам. Токмо ведь его обдумать малость надоть. – Владимир Иванович слепил простецкое лицо и стал похож на деревенского парня. – А оклад жалованья какой положите, господин хороший?

– Не обижу, – рассмеялся Воловцов.

– Ну, и я тебя обижать не собираюсь. Просьбу твою выполнил, хотя, честно признаться, было непросто. Едва успел к твоему приходу...

– Так я в тебе и не сомневался, Владимир Иванович, – произнес Воловцов. – Знал, к кому стоит обращаться.

– Спасибо, Владимир Иванович, – ответил Лебедев, пододвигая к нему несколько листов бумаги. – Вот отчеты по интересующим тебя личностям. Всего – девять человек.

– Ты – маг и волшебник, – с нотками благодарности проговорил Иван Федорович.

– Что есть, то есть, этого не отнять, – кивнул Лебедев и серьезно посмотрел на Воловцова: – Работай, следователь...

Глава 5

Милосердная, или Кандальный этап

В этапную партию арестантов сбивали в Таганской пересыльной тюрьме. Каждые две недели выходила из ворот Таганки под главенством конвойного офицера и команды солдат партия арестантов. Впереди шли каторжане в кандалах, посередке – переселенцы, скованные по рукам цепью по четверо, зато без ножных оков, за ними – женщины, тоже скованные по рукам, а в самом конце – длиннющий обоз с больными и женами с детьми, что следуют за своими мужьями да отцами на сибирское поселение. По бокам, спереди и сзади колонны следовали конвойные солдаты, хмурые, как и сами арестанты: чай, тоже на каторгу идут, только колодники – за дело, а солдаты – по службе... Таковой порядок установлен был еще со времен Александра Благословенного и с той поры являлся неизменным и обязательным, как восход солнца...

Партию колодников тотчас окружала толпа зевак, и бывалые из арестантов зачинали милосердную старинную песню, от которой не у одних баб да стариков, что стояли в толпе, наворачивались слезы...

Милосердны наши ба-атюшки-и,
Не забудьте нас нево-ольнико-ов,
Заклученных, Христа ра-ади!..

Нет более тоскливой песни на Руси, где от сумы да тюрьмы зарекаться не положено и не след, ибо незнамо, как все может обернуться. Эта песня выстрадана в сердцах арестантов, и отзывается она в любом русском сердце, не очерстневшем и всепонимающем, что такая беда может приключиться со всяким, в том числе и с ним...

Кандалы бренчат в такт песне. Нарочно или нет – поди, догадайся. Но, кажется, все же нарочно, поскольку колодники шли по улицам Москвы медленно, едва волоча ноги. Так получилось жалостливее...

Пропитайте, наши ба-атюшки-и,
Пропитайте нас, бедных заключе-онных.
Сожалейтесь, наши ба-атюшки-и,
Сожалейтесь, наши ма-атушки-и,
Заклученных, Христа ра-ади!

Тихо в толпе, что провожала арестантов в долгий путь в не одну тысячу верст. Летом – по жаре, весной – по слякоти, осенью – по грязи, зимой – по холоду. И все в кандалах да в рваной одежке... А коли опосля пароходом арестантиков повезут, скажем, на славный остров Сахалин, так по долготе времени все равно так же получится. Конечно, можно было везти их в Сибирь и по «железке», да с какого, спрашивается, рожна такая честь? Может, еще еропланам их до Нерчинских рудников доставлять, чтоб быстро и с комфортом? Нет уж, пусть топают да мучаются...

Так думали власти. Но иначе думал простой люд, что шел за колодниками по Москве...

Мы сидим во нево-олюшке-е,
Во неволюшке в тюрьмах ка-аменны-ых,
За решетками за желе-езными-и,

За дверями за дубо-овыми,
За замками за висячи-ими.
Распростились мы с отцом, с ма-атерью,
Со всем родом свои-пле-емене-ем...

Им подавали всегда, так уж было заведено. Кто – обильное, кто – посильное, выкроенное из запасов на черный день, а то и вовсе схороненное на саван да ладан. Какая-то девица в сарафане, юркнув меж двух солдатиков, также понуро бредших вместе с арестантской партией, сунула прямо в ладонь Жорке Полянскому серебряный полтинник. Еще одна, постарше, верно, купчиха, смешно просеменяв на ботиночках с каблучками, протянула ему целый червонец.

– Любят тебя бабы, паря, – хмыкнул идущий рядом мужик с седыми кустистыми бровями и задубелым лицом в глубоких морщинах. – Не пропадешь, стало быть, на этапе...

Полянский хмуро посмотрел на говорившего, отвечать не пожелал.

– Зря ты так, паря, – сказал колодник тоном человека, повидавшего жизнь. – Когда с тобой разговаривают по-доброму, ты ответствовать должен, иначе выкажешь неуважение и тем врагов себе наживешь. А на каторге враги – пуще сибирской язвы или цинги. Артельно надо держаться, брат. Одному на каторге не выжить...

– Я постараюсь, – процедил сквозь зубы Георгий. – Авось мне понравится на каторге. – И, посмотрев в бесцветные глаза седоватого колодника, добавил: – А коль не понравится – сбегу...

– Ну-ну, – усмехнулся мужик. – Много таких сбегало. Да только либо буряты таковых смельчаков из ружей дырявили, либо беглые сами назад возвращались, да еще и слезно принять просили...

– Это почему? – недоверчиво посмотрел на него Георгий.

– Потому... – не пожелал вдаваться в подробности старый колодник.

Железная дорога, конечно, время пути сократила намного. Но вести достигают слуха жаждущего их узнать быстрее любого паровоза. Очевидно, скорость вестей равна скорости света, открытой еще Олафом Рёмером...

Что ее сына арестовали и скоро будут судить, Самсония Полянская узнала от старика Гаврилы Федотовича, коему не столь давно стукнуло девяносто лет. Кто ему принес эту ужасную весть, так и осталось загадкой.

Что делать?

Как выручить из беды родное дитяtko?

И Самсония решилась: выведав у управляющего именем адрес Лихачева, жившего в Москве, поехала к нему. Разумеется, сам Лихачев ей был не нужен. От него она намеревалась узнать, где проживает граф Николай Григорьевич Хвоцинский, который, по словам управляющего, давно вышел в отставку и также проживает в Москве.

Старик Лихачев Самсонию принял радушно, выслушал ее рассказ, долго качал плешивой головой и сказал, что граф Николай Хвоцинский после смерти отца проживает в его доме на Мясницком проезде близ Красных Ворот. И Самсония отправилась туда...

Ее прогоняли трижды:

– Господин граф таких, как ты, не принимают!

– Но мне очень надо с ним поговорить! – настаивала Самсония.

– Они не разговаривают с попрошайками, – отвечали ей.

– Я не попрошайка. Скажите ему, что я – мать его сына...

– Мы сейчас вызовем полицию...

– Я – мать!

– Не смейте так выражаться! Все, мы вызываем полицию...

– А вызывайте, – начала терять терпение Самсония. – И тогда все узнают, каков молодец ваш граф...

Двери особняка снова захлопнулись, но на сей раз ненадолго. Через минуту они открылись, и худой лакей в ливрее, хмуро оглядывая Самсонию, впустил ее со словами:

– Господин граф очень заняты, поэтому времени у вас для разговору – две минуты...

Ее проводили в гостиную, где она присела на краешек кресла с ножками в виде львиных лап.

Граф Хвоцинский вышел в цветастом шелковом халате, завязанном на талии витым поясом с бахромой на концах. Он сощурился, глядя на Самсонию, словно что-то припоминая, потом, сделав вид, что не вспомнил и не узнал, присел напротив нее:

– Слушаю вас, сударыня...

– Вы меня не узнаете? – спросила Самсония.

– Нет, простите, – равнодушно ответил граф и снова сощурился. – А мы с вами разве знакомы?

– Ну, если не считать знакомством то, что я, поддавшись вашим уговорам и льстивым словам, спала с вами целую неделю, когда вы приезжали в гости вместе со своим батюшкой к полковнику Лихачеву в его имение Полянки в семьдесят первом году, то, конечно, мы не знакомы, – с большой долей желчи произнесла она.

– Вот как? Весьма... – Хвоцинский, как мог, старался не подавать виду, что узнал в женщине-селянке ту самую девушку, с которой и правда славно провел неделю в имении Полянки без малого четверть века назад. Правда, с того самого времени она очень сильно изменилась. Впрочем, он тоже не помолодел. – Прошу прощения, но я не помню такого факта в своей биографии. Увы!

– Конечно. – Самсония посмотрела на графа так, что заставила его поежиться. – Где уж вам упомянуть...

– Ваш визит ко мне связан с... э-э-э...

– Мой визит к вам, – не дала договорить графу Самсония, чем, впрочем, помогла ему, поскольку Хвоцинский не мог подобрать нужных слов, – связан с вашим сыном. У вас ведь есть сын, господин граф...

– Нет, – взял в себя в руки Хвоцинский. – У меня только три дочери. И они уже все замужем...

– Есть, есть сын. Я его родила от вас. И он сейчас в беде...

– А что такое? – поднял брови Хвоцинский, заметно напрягшись.

– Он сидит в тюрьме и обвиняется в убийстве уездного исправника. Ему грозит каторга... – Самсония как-то размякла, глаза наполнились слезами, и она повалилась к ногам графа: – Молю вас, помогите!

– Да чем же я могу ему помочь? – почти искренне удивился граф, подбирая под сиденье кресла ноги, которые женщина хотела обхватить руками. – И, встаньте, пожалуйста...

– Похлопочите за него, Христом Богом вас прошу! Ведь у вас есть связи, знакомства...

– Встаньте! – громко приказал граф. – Немедленно встаньте! – Его рука потянулась за колокольчиком, который стоял на столике рядом. – Вы заблуждаетесь насчет меня. Сожалею, но я не знаю ни вас, ни вашего сына. И ничем не могу вам помочь...

Его пальцы нащупали колокольчик. Он взял его в руку и нервно позвонил. Почти мгновенно двери гостиной открылись, и вошел все тот же худой лакей в ливрее.

– Павлуша, выпроводите эту побирушку вон! – повелительным тоном проговорил граф. Ливрейный лакей подошел к Самсонии и жестко взял ее за локоть:

– Ну-ка, пошли...

– Не трожь! – отдернула руку Самсония и испепеляющее глянула на графа: – Значит, побирушка, говорите? Ничего, покарает еще вас Господь, попомните мое слово...

Что мать ездила к графу Хвощинскому просить за него, Георгий не знал. Как и не знал того, что его ожидает, когда дошли они до Рогожской заставы. Вели партию не напрямки, а торговыми улицами с купеческими домами, дабы собрать побольше подаяний: таков был уговор арестантской партии с конвойным офицером, которому было обещано за это пятьдесят рублей.

– Еще унтеру червонец да солдатускам по рублю, – прибавил офицер, торгуясь с представителями колодников, среди которых был и мужик с седыми кустистыми бровями и заду-белым лицом в глубоких морщинах. На что колодники, посоветовавшись, согласились.

Во Владимире – этапная остановка, а значит, желанный роздых. Подавали арестантам во Владимире беднее, все больше пропитанием: хлебом, рыбою, калачами да курями. От Владимира до Нижнего Новгорода – шесть этапов да еще шесть полуэтапов. На полуэтапах стояли ветхие бараки, неизвестно когда и кем построенные, старые печи лютой зимой грели паршиво, колодников в такие бараки набивалось вместо сотни – две, а то и целых четыре: так-то оно потеплее.

В купеческом Нижнем Новгороде, заводи или не заводи «Милосердную песню», подавали мало: красненьких да синеньких бумажек почти и не видать, все больше серебро да медь. Даже в Вязниках подавали лучше. В селе Лысково – как на Москве: дюже богатое село, староверы жили, в подаяниях колодникам не жались. В Казани – та же картина: однако город наполовину восточный, а басурмане копейку берегли, они лучше в свою мечеть денежку понесут, нежели колоднику в ладонь сунут. Русские же подавали охотно, почти как в Москве, только суммы разнились: что в Москве червонец, то на Казани – два или трешница.

Жалели арестантиков в Кунгуре и Екатеринбурге: с этих городов Георгию аж семьдесят рублей обломилось, и даже его бровастому соседу – четвертная. Как вышли из Екатеринбурга, сосед с кустистыми бровями куда-то запропал. Как оказалось позже, он дал «на лапу» конвойному офицеру и унтеру и, прикупив водки, у одного крестьянина двое суток арендовал подводу, на которой весело проводил время вместе с поселенкой Наташкой Герцер. Эта Наташка на этапе была знаменита: и унтер, и многие из конвойных солдат, и арестанты (коли посчастливится) охотно её имели, поскольку до мужиков она была жадной, а еще и сама водкою угощала, для «заводу и куражу», как она сама же и выражалась. Так что, когда мужик с кустистыми седыми бровями в строй возвратился, пахло от него водкою и полным довольством: оказывается, при денежке и на этапе жить вполне можно...

Когда арестантская партия доходила до Тюмени, у некоторых колодников, что до водки да баб были не шибко охочи, по две, а то и три сотни скапливалось деньжат – суммы для Сибири весьма немалые. Большинство же арестантов пропивали да проедали жертвенные деньги почем зря, и мало кто из колодников бывал трезв на всем пути от Москвы до Тюмени.

Пару раз с этапа бежали...

Первый раз – когда из Казани вышли на Сибирский тракт, прозванный так за то, что не первый век уже ступала по нему окованная цепями нога арестанта-колодника. Версты с четыре поначалу по обе стороны тракта были густые кусты да озера с камышом по берегам, а как вышли из низины – леса пошли густые и диковатые, прозванные Арскими, поскольку стояли они сплошь до самого Арского городка. Вот двое из партии каторжных и шмыгнули в лес, благо стоял он стеной вдоль самой дороги. Лето было, не зима, ягоды уже вовсю пошли, коренья сладкие, кто в них толк знает. Так что умелому да знающему – лафа. Как эти двое оковы с ног скинули – един Бог ведает. Нашли это железо подле кустов солдаты сажень в двадцати от тракта. Готовились беглецы к побегу тайно, никто ничего не заметил и не ведал. Иначе арестантская артель побег бы им запретила, поскольку беда это и начальству, и самим колодникам. Конвойного офицера за побег каторжного арестанта с этапа не иначе как под военный суд отдали бы, после чего грозила ему, бедолаге, принудительная отставка от службы да лишение годового жалованья, ибо закон в таком случае снисхождения не знал. Ну, а арестантам горе,

поскольку после побега их друг к другу на цепь приковывали. И тяжело, и больно, а зимою, так и вовсе полная погибель.

– Так что бежать с этапа – самое распоследнее дело, – делился с Георгием своими знаниями Дед. – Бывало, не только солдаты беглых ищут, но вместе с ними и колодники по лесу шлындают, отпущенные караульным офицером под честное слово.

– И что, возвращаются? – дивился на такую честность этапников Полянский.

– И возвращаются, и беглых с собой приводят... – следовал ответ. – Посему, паря, не вздумай с этапа ноги делать. Убежишь совсем недалече, ибо свои же и споймают и бока тебе наломают так, что потом с месяц тебе не вздохнуть. Кровью будешь харкать... Да и товарищей своих ты шибко подведешь.

– А мне-то что за дело. Нету тут у меня никаких товарищей, – огрызнулся Георгий, понимая, конечно, что Дед правильно говорит.

– Э-э, паря, – тянул Дед. – Зелен ты еще и жизни не видывал. Это там, на воле, все всяк за себя, а здесь жизнь артельная, один за другого непременно ответ держит. В одиночку же, без товарищей, тебе тут не выжить, как ты ни жилься...

Он рассказал, что примерно так случилось и под Казанью на Сибирском тракте. Через два часа с четвертью привели этих двоих служивые и добровольцы из арестантской артели, что вместе с ними беглых искали. Недалеко арестанты ушли, залегли в овражке да сучьями завалились, поскольку лес чужой, незнакомый, а куда идти – неведомо! Дали им по паре-тройке раз в зубы, чтоб далее неповадно было даже в мыслях побег держать, да и потопали обратно к колонне. Конвойный офицер велел выпороть их прилюдно, так колодники розги у солдат забрали и сами беглецов выпороли, дав им вместо сотни наложенных офицером ударов розгами все двести...

Второй побег случился уже около Тюмени. Обнаружился он, когда партия пришла на полуэтап и встала на ночлег. Конвойный офицер спать не разрешил, пришел сам в барак и сначала упрекать стал, что, дескать, нехорошо это под самый конец этапа ему такую гадость чинить. А потом пригрозил, что, дескать, всех поголовно на цепь посадит. И поблажек, мол, более никаких не ждите: все будет строго и по закону.

Покумекали колодники, выбрали меж себя скороходов да бывалых бродяг, пошли к офицеру:

– Виноваты, – сказывают, – ваше благородие, не углядели... Позволь, господин офицер, нам самим этих беглецов сыскать и тем самым вину свою загладить.

– Ага, – невесело усмехнулся конвойный офицер, – а потом вас самих ищи-свищи...

– А это никак не можно, – серьезно отвечали ему колодники. – Мы корешам своим слово дали и тебе слово свое варнацкое говорим: не сбежим и даже в помыслах такое держать не будем.

Знал конвойный офицер, что значит слово варнацкое, хоть и молод еще был. Ибо слово это тверже даже слова купецкого: коли дал – держи, даже ежели оно и спьяну сказано было. Иначе сами же варнаки и накажут не сдержавшего слово. И если купец за пустое слово репутации своей лишится, что скажется негативно на его коммерции, то за нарушенное варнацкое слово, данное уркаганскому сообществу, лишают жизни. У кандальных с этим строго...

Отпустил офицер выборных колодников без оков и конвойных солдат. Всю ночь и утро до самого полудня шныряли добровольные сыщики по лесу, отыскивая следы беглецов. Отыскали. После чего устроили облаву. И к вечеру следующего дня поймали всех троих...

В Тюмени тюрьма была большая, не в пример Казани или Екатеринбург. Оно и понятно: сюда, как в большое озеро стекаются ручейки и речки, приходили с этапов партии арестантов из разных российских губерний и пересыльных тюрем. Этапное стояние в тюменской тюрьме у колодников было долгим, месяц, а то и поболее, поскольку шла проверка арестантских списков,

составлялись новые, ссыльные сортировались по разрядам от первого до седьмого, коим определялось конкретное место отбывания наказания. Выходили из Тюменской тюрьмы уже особо: каторжные – своей партией, поселяне – своей, женщины этапировались отдельно от мужчин. Дорожная или этапная любовь здесь заканчивалась, пары, сложенные в дороге, расставались, чтобы больше не свидеться. Некоторые женщины от такой любви бывали беременны, и что далее случалось с ними, арестанты мужчины не ведали. У многих из них появлялись через положенный срок сынки да дочери, которых они никогда не увидят.

У Наташки Герцер, к примеру, уже был огромный живот, и ходила она эдакой уточкой, переваливаясь с боку на бок. Правда, чей вынашивает плод: унтера Иванченко, солдата Хуснутдинова или колодника Яшки Хмыря, она не знала и сама...

Были и у Георгия связи с женщинами-поселенками. Только инициаторами этих связей выступали они, а не он. И водку «для заводу и куражу» покупали у майданщиков они же, так что денежная экономия была полная. А вот на еду и водку за две и даже три цены, уже для себя, приходилось тратиться на всем долгом пути...

Каторжная партия в Тобольске делилась на десятки. Десятским был избран мужик с кустистыми седыми бровями, которого все арестанты звали Дедом. Он шел на каторгу не впервой, имел за плечами два побега и считался опытным арестантом-бродягой. А опытный человек, который зовется бродягой, многое знает и умеет вовремя подсказать, что да как. Для новичков бродяга, как отец родной. А в нынешних условиях так, может, и поболее...

Через три недели десятке, в которой был Георгий, выдали за казенный счет две белые рубахи, двое портков из грубой ткани и коты, начиненные бумагой. Это было еще не все. В придачу к исподнему и башмакам дали господам арестантам еще суконные портянки, треух на манер башлыка, похожий на поповский, и варежки-голицы. Но, главное, заимели колодники шерстяные штаны и шерстяной же зипун с бубновым тузом на спине. Точно такой же зипун получили из их десятки Георгий, Дед и угрюмый неопрятный мужик по прозвищу Сявый.

– Тепло¹ не пропивать, майданщикам не закладывать, беречь, – строго предупредил Дед. – Иначе в дороге окочуритесь на хрен.

Замерзнуть в Сибири по дороге очень просто, да и слово десятского – закон. Не меньше, нежели слова старосты всей арестантской партии.

Вышли из Тюмени в четвертой кандальной партии – ровно через месяц, день в день. Двести арестантов с бубновыми тузами или двойками на спинах. Большинство – народ битый и тертый, новичков из двухсот человек разве что с десятков и набралось.

На первом же привале выбрали трех откупщиков-майданщиков из тех, кто к водке не шибко пристрастен, опытен и успел за долгий путь скопить хорошие деньжата. Это были среднего возраста мужики – Чинуша, Копылов и Купчик. Чинуше дали на откуп содержание карт, юлки и зерни, Копылову – заведывание водкой и куревом, Купчик стал ответственным за еду и одежду. С каждого майданщика артель в лице старосты приняла в свой «общаг» по тридцать рублей – такова была стоимость откупа, с этого момента всякий из арестантов уже утрачивал право приторговывать водкой, куревом, картами и одеждой, все это находилось теперь в ведении майданщиков. Откупщики-майданщики же стали обязанными все это иметь, а как да где – это уже арестантскую партию не волновало, и выдавать, вернее, продавать нужное по первому требованию арестантов...

На этом же привале конвойный офицер призвал к себе старосту партии. Беседовали они долго, после состоявшегося разговора староста созвал десятских и велел собрать с каждого арестантского носа по восемь копеек.

– На какую надобность такой сбор? – поинтересовался Дед, который, как бывалый бродяга, имел право голоса.

¹ Тепло – одежда, преимущественно верхняя (жарг.).

– Конвойный список статейный огласит, кто куда из нас потопаёт... – ответил староста. – По гривеннику просил, я давал по пятаку, на восьми копейках и сговорились...

– Так он по закону обязан был это сделать еще по выходе из Тюменской пересылки, – сказал Дед, но на него зашумели:

– Коли тебе и твоей десятке все равно, куда тебя кинут, можешь не раскошелиться, а по мне, так чем раньше мы это узнаем, тем лучше! Душе спокойнее...

– Верно! Каждому интересно знать, где ему гнить до скончания срока...

– А ты что? Хошь, чтоб все было по закону? – весьма недовольно посмотрел на Деда староста. – Тогда приготовься к тому, что все села богатые мы будем обходить дальней стороной, и подаваний никаких более не будет, привалы только на полуэтапах, бани тебе уже не видать аж до самого Красноярска, равно, как и подвод для отдыха, а майданщикам не позволят пополнять свои запасы в кабаках да магазинах. В ладу надо с конвойным офицером жить, – добавил он, – угождать ему всячески, хотя бы и для виду. Тогда и он, когда нам нужно, угодит и смирится...

Вернулись десятские, сказали всем веление старосты, и полезли арестантики в мошну за копейками. В конце привала собрали всех колодников в одну кучу, и конвойный офицер, уже малость выпивший, огласил, кто куда направляется. Дед, Георгий и Сявый угодили в одно место – Зарентуйскую каторжную тюрьму. Но до нее было еще три этапа: Красноярск, Иркутск и Нерчинск...

Глава 6

Девять бумажных листочков, или Имя – это судьба

Девять бумажных листочков, что передал Ивану Федоровичу начальник сыскного отделения Лебедев, содержали если не всю жизнь интересующих Воловцова лиц, то, по крайней мере, самые их важнейшие жизненные вехи. К одному из листочков большой канцелярской скрепкой была прикреплена фотографическая карточка молодого парня в арестантской робе. Этого господина судебный следователь решил оставить на потом и занялся куда остальными восемью.

Итак, Александр Захарович Жилкин, старший из четырех братьев Зинаиды Кац. Сорок один год, три класса образования. Уже девятнадцать лет женат на московской мещанке Дине Шмуэльевне Гарьянц. Проживает в Замоскворечье по улице Большая Ордынка с женой и одиннадцатью детьми в отцовом полукаменном доме, доставшемся ему по наследству, как старшему из сыновей. Держит бакалейную лавку в каменной части дома. Торговлю ведет сам вместе со старшим сыном Нахманом, семнадцати лет. Никуда не выезжает и практически не выходит из своей лавки, поскольку ежедневно занят одной-единственной заботой – прокормить многочисленную семью. На семнадцатое и восемнадцатое сентября, равно, как и на предыдущие дни сентября, имеет полное алиби, поскольку не один десяток людей видели его в эти дни, как обычно, торгующим в своей лавке, открытой с восьми утра и до девяти вечера.

Натан Захарович Жилкин, второй брат Зинаиды Захаровны. Тридцать восемь лет. Женат. Имеет двух дочерей одиннадцати и девяти лет. Окончил Александро-Мариинское училище и гимназию, а также какое-то время обучался в Московском университете на юридическом факультете, но был исключен с третьего курса за антиправительственную пропаганду и ныне дает частные уроки еврейским мальчикам и девочкам, готовя их к поступлению на гимназический курс. Одновременно исполняет функции помощника резака и как раз семнадцатого сентября помогал резачу Даниэлю Залману исполнять обряд обрезания двум еврейским мальчикам. После чего отдыхал у себя на квартире второго этажа доходного дома купца Георгиева на Якиманке и никуда не выходил вплоть до одиннадцати тридцати утра восемнадцатого сентября (показания дворника Агафона Картузова, агента сыскного отделения и одновременно губернского жандармского управления).

Третьего брата Зинаиды Кац звали Зогаром. Он был женат на Гаде Гинзбург, дочери аптекаря, года три как передавшем свои дела зятю. Зогар вместе со старым Гинзбургом владел на паях аптекой в Китай-городе и, помимо лекарств, микстур и настоев, продавал в своей аптеке медицинские вина, вроде «Крушины на малаге» и «Коки на портвейне». Имелся в аптеке Гинзбурга-Жилкина и германский кокаин – «лучшее средство от астмы, уныния и зубной боли», как гласила реклама препарата. Коробочка кокаина стоила один рубль и пользовалась большим спросом у актеров, художников, молодых купчиков и «золотой» молодежи, прожигающей жизнь и родительские деньги. Зогар Жилкин в течение всего сентября не покидал Москву, и на семнадцатое сентября у него имелось железное алиби, поскольку именно в этот день у его супруги Гади был день рождения. Разумеется, он не отмечался, как принято у православных, с помпой, вином, плясками и песнями под гармонь, но все же Гадя приготовила в этот день замечательную фаршированную щуку, которую с удовольствием отведали старый Гинзбург и Зогар, запивая ее «Крушиной на малаге» и цокая от удовольствия языками...

Еще пятеро родственников-мужчин Зинаиды Кац также имели на семнадцатое сентября полное алиби, а, стало быть, не могли быть ни в малейшей степени причастными к убийству коммивояжера Стасько в ночь с семнадцатого на восемнадцатое сентября. Не имел алиби только младший из братьев Зинаиды, Иван, двадцати девяти лет от роду, фотографическая

карточка коего как раз и прилагалась к одному из листочков, что передал Воловцову начальник сыскного отделения Лебедев.

Этот листок был исписан полностью, и даже на оборотной стороне, ибо, несмотря на то, что Иван Жилкин – самый младший из братьев Зинаиды Кац, его жизненный путь был весьма богат и насыщен различными весьма преинтересными и не очень событиями...

Первым событием было его рождение.

Ваня родился до срока в доме Захара Жилкина на Большой Ордынке. При появлении на свет из материнской утробы он пару-тройку раз недовольно вякнул и замолчал, очевидно, соображая, как ему надлежит дальше жить во вновь открывшихся обстоятельствах, дабы устроиться поблагополучнее, при этом не прикладывая к этому особых усилий.

Как и Натана, его отдали на обучение в Александро-Мариинское училище, по большей части потому, что там кормили бесплатными завтраками, и училище это было неподалеку от дома. Ваня умудрялся съедать по два завтрака, а то и по три, выигрывая у товарищей по училищу различные пари.

– Спорим на завтрак, что я проглочу вот эту пуговицу, и мне ничего не будет? – предлагал он сидящему рядом за столом ученику и показывал огромную, едва ли не с куриное яйцо пуговицу от пальто или рабочей тужурки, столь искусно сработанную из хлебного мякиша, что ее абсолютно нельзя было отличить от настоящей.

– Спорим! – охотно принимал предложение ученик, внутренне радуясь возможной неприятности, которую может вызвать такая пуговица внутри у Ваньки Жилкина.

Они ударили по рукам, и Ваня, морщась и делая судорожные движения кадыком, якобы с трудом проталкивал пуговицу в горло и глотал. А потом сидел с довольным видом и улыбался, а соседская тарелка каши с чаем и еще теплой сдобной булочкой по праву выигравшего пари отходила к нему. Жадным он никогда не был и делился с проигравшим спор четвертью булочки, давая запить ее несколькими глотками чая. Номер с пуговицей долго сходил ему с рук, откуда Коська Брылев не дал ему настоящую пуговицу. Коська трижды проиграл пари Жилкину и начал подозревать неладное, потому и принес из дому настоящую деревянную пуговицу от плаща: довольно большой кругляк с двумя сквозными дырками посередине. И когда Ванька, придя в училище, предложил ему снова поспорить на завтрак, Коська охотно согласился и вытащил из кармана штанов заготовленную пуговицу: на, дескать, Ванюша, глотай. Вокруг них снова собрались любопытные: всем было охота посмотреть, как этот Ванька Жилкин, наконец-то, сначала поперхнется, начнет кашлять, а затем станет задыхаться и корчиться оттого, что пуговица застрянет у него в горле. Уж больно многих учеников Жилкин лишил завтраков, а из богатых или среднего достатка семей пацанов здесь не было, бесплатный завтрак для каждого не лишний, ведь Александро-Мариинское училище, согласно его Уставу, было предназначено для обучения детей «из беднейших семей».

Эта деревянная пуговица стала для Вани Жилкина полнейшей неожиданностью. Однако отступать поздно: пари заключено, причем при свидетелях, да и не согласиться проглотить Коськину пуговицу означало не только с позором проиграть пари, но поставить под сомнение все его предыдущие выигрыши подобных споров. А за это можно было получить и по шее. В лучшем случае...

Делать нечего, надо глотать деревянную пуговицу.

Ваня поочередно оглядел всех, кто столпился вокруг спорящих, сделал презрительную гримасу и сунул пуговицу в рот. Затем сморщился, сделал несколько глотательных движений и победоносно вскинул голову: что, получили?

– Рот открой, – потребовал Коська.

– На! – Ваня охотно открыл рот, демонстрируя всем, что во рту абсолютно пусто.

– Шире открой, – снова потребовал Коська. – Может, ты пуговицу за щеку спрятал.

Жилкин, прижав язык к зубам, открыл рот так широко, что в него можно было запросто просунуть кулак. Пуговицы за щеками не было.

– А теперь язык подними, – не унимался Коська.

– Может, тебе еще и булочки у задницы раздвинуть? – возмущенно посмотрел на него Ванька.

– Давай, поднимай свой язык, коли тебе говорят, – поддакнул кто-то из пацанов.

Жилкин поднял язык. Под ним лежала пуговица. Та самая, деревянная, от плаща, с двумя сквозными дырками посередине.

– Ага! – победно воскликнул Коська. – Проиграл!

– Ничего не проиграл, – огрызнулся Ваня. – Просто не получилось проглотить с первого разу...

– Ладно, глотай со второго разу, – милостиво разрешил Коська, злорадно ухмыляясь. – Но смотри: третьего разу – не будет!

Кусать хотелось сильно. В доме по утрам на Ваньке экономили, поскольку знали – в училище покормят. Да и он, зная, что завтрак непременно будет, а, возможно, и не один, не рвался есть дома по утрам, рассчитывая на училище. А вот теперь он мог не только проспорить и уронить свой авторитет среди товарищей, но еще и лишиться завтрака, что никак нельзя было допустить. И Жилкин, вздохнув, проглотил Коськину пуговицу. Однако дальше горла она не пошла...

Сначала Ваня почувствовал, что ему трудно дышать. Он попытался глубоко вздохнуть, но получилось что-то вроде сдавленного кашля. Жилкин побагровел, силясь что-то сказать, но получился лишь глухой сип:

– Пу-го-ви-ца за-стря-ла...

Кто-то ударил его кулаком по спине, но кроме боли Ваня ничего не почувствовал: пуговица в горле сидела крепко. Он попытался покашлять, но и из этого ничего не вышло. Невозможно было ни вздохнуть, ни выдохнуть.

В голове у Вани закружилось, и пол стал шататься, как дно легкой лодки на речных волнах. Стены задвигались и норовили свалиться прямо на него.

Кто-то из пацанов побежал за взрослыми. Через какое-то мгновение Ваня почувствовал, что его кто-то обхватил сзади. Затем ему в живот уперлось что-то твердое, и на это твердое резко нажали, прижав ему при этом локти к бокам. Потом еще и еще. Ваня вдруг кашлянул и через малое время уже заходился в неумном кашле, светлея лицом, которое еще минуту назад было цвета вареной свеклы. А на полу, словно насмехаясь над ним, лежала и смотрела прямо на него своими круглыми глазами-дырочками злополучная пуговица...

Больше в училище фокус с пуговицами он не проделывал. Правда, пару-тройку раз все же повторил этот свой коронный номер, учась уже в гимназии, однако, наученный горьким опытом, вовремя остановился и переключился на картишки. Науку лукавить и передергивать картишки Ваня постиг быстро, поскольку мальцом был способным, и если бы эту его способность суждено было направить во благо, Жилкин сегодня, самое меньшее, имел бы уже звание адъюнкт-профессора и вел бы семинарские занятия со студентами университета. Однако его энергия уходила в совсем иное русло, причем зачастую не благонамеренное, а порой даже не всегда законное.

Однажды его и гимназиста Румянцева застукали за игрой в карты прямо на уроке. На первый раз обошлось внушением со стороны инспектора гимназии. Но Жилкин был предупрежден, что если еще раз будет пойман за руку в каком-либо неблагоприятном поступке, встанет вопрос об его отчислении из гимназии. С полгода он вел себя тише воды ниже травы. Но деятельная натура Вани постоянно требовала надлежащего выхода. Было скучно делать то, что и все остальные, причем каждый день и все одно и то же. Тоска же зеленая! И в четвертом классе Жилкин сорвался: поспорил с тупоголовым Семеном Чиркиным на два рубля серебром,

что на уроке истории русской словесности продекламирует что-нибудь из Баркова, не шибко вульгарное и без мата. Чиркин попытался было настоять на мате – какой же Барков без непечатных словечек, но, когда Ваня запросил за это пять рублей серебром, сник и согласился. Урок по истории русской словесности подходил уже к концу, и вдруг Ваня неожиданно встал и, заявив, что русская словесность – его конек и любимейший предмет, громко и внятно продекламировал:

Уже зари багряный путь
Открылся дремлющим зеницам,
Зефир прохладный начал дуть
Под юбки бабам и девицам...

– Это что? – спросил учитель, багровея.

– Стих, – ответил Жилкин и нахально улыбнулся.

– Вон отсюда! – зловеще-леденящим голосом произнес учитель и указал рукою на дверь. – И учтите: я сегодня же поставлю вопрос перед директором гимназии о вашем дальнейшем пребывании в ее стенах...

Когда Ваня открыл дверь, в лицо ему дунул прохладный Зефир. Это был воздух свободы...

Жилкина выперли из гимназии с позором. То есть без надежды на восстановление ни на следующий год, ни в иные последующие лета. Хорошо, что к этому времени его отец и мать уже переселились в мир иной, иначе Захара Жилкина хватил бы удар, а Хедва Жилкина, урожденная Эткинд, ослепла бы от слез. Что касается братьев, то все они были заняты своими делами, а посему сделался Иван Жилкин предоставленным самому себе, что в четырнадцатилетнем возрасте крайне чревато многими ошибками с печальными последствиями.

И вскоре он не преминул их наделать...

Как известно, имя не просто определенный набор звуков, на который откликается носитель этого имени. И не только запись в метрической книге или формулярном списке, которого, кстати, у Вани Жилкина никогда и не было. Имя, в первую очередь, – определенная судьба. Ибо течение судьбы, ее вехи, которые во многом определяются или корректируются личностью и характером человека, имеют вполне значимую зависимость от имени, полученного при рождении...

Скажем, люди, носящие имя Сосипатр. Их немного, но они имеются. И, удивительное дело, все они полны стремления к прочному и незыблемому, пусть и в невеликих масштабах. Главное – стабильность, здравый смысл и душевный комфорт. И не важно, дано ли имя Сосипатр при рождении или принято после монашеского пострига: черты характера и желания и у тех, и у иных будут схожи...

Отчего это так?

Оттого, что имя обязывает. Оно накладывает отпечаток на характер, формирует мировоззрение, создает привычки, а стало быть, определяет и дальнейшую судьбу...

Или, к примеру, Станиславы...

Среди них невозможно встретить нищего или какого-то лишенца. Или не имеющего самолюбия гражданина, то есть простого, как печная кочерга. Не-ет... Все Станиславы самолюбивы и желают жить красиво, беззаботно, в сладостной неге и довольствии. Но вот достигать желанной жизни тяжким трудом, терпением и потом – ни-ни. Им надо все и, по возможности, сразу. И если при достижении земных благ им встретится принципиальный соперник, Станислав без всяческого зазрения совести столкнет его с дороги в канаву, а при надобности заедет и локтем под ребра. Некоторые из них, случается, становятся и королями... Неурав-

новешенными, упрямыми, нервическими и капризными до истеричности. В конечном итоге, таких королей либо травят крепчайшим ядом, либо смещают с престола, после чего, как многим кажется, им уже не подняться. Но они поднимаются благодаря своему упрямству и любви женщин. Пример тому – польский король Станислав Понятовский...

А, впрочем, хорошее имя. По крайней мере, оно не несет в себе жизненную скуку...

А если взять, допустим, Марка. Этот своего не упустит. Ум у него практичен и весьма изощрен. На всякие кунштюки, которые могут доставить ему материальные и служебные блага.

К тому же Марки великолепные актеры. И все делают с улыбкой, которая невесть что скрывает: может, насмешку, может, сарказм, а может, и презрение. Марки до того улыбкивы, что когда станут вспарывать вам брюхо, натурально или фигурально выражаясь, то будут вежливо и дружелюбно улыбаться. И когда их будут вести на виселицу – а Марков всегда есть за что повесить, – они тоже будут иметь на устах улыбку. Скорее, ироническую...

Николай... Этот гражданин суров и надежен. Таковым был наш государь император Николай Павлович, коего свалила с ног Крымская война и который слишком рано почил в бозе. А иначе Россия не была бы таковой, какая она по сей день есть...

Николай предан идее, к которой прет, как единорог, сметая на своем пути всякие преграды. Или, точнее, бежит как слон. Именно как слон, поскольку слон – тотемное животное этого имени.

У Николая целый сонм покровителей среди велико- и просто мучеников, святых угодников и столпников. Наверное, это они помогают Николаям почти всегда добиваться поставленной цели. Счастливец среди человек с именем Николай – вполне достаточно...

Талгаты – а имя это, как удар обухом топора – несокрушимы и надежны. Рождаются Талгаты сразу маленькими мужичками, имеющими природную хватку и практический ум. То, что считают «своим», они никогда не упускают, в том числе и женщин, которые с ними, как за каменной стеной. К цели Талгаты идут медленно, неуклонно, но редко когда до нее доходят. Что не мешает им быть счастливыми, поскольку топают к своей мечте в течение всей жизни. Тем и живут. А ведь славно прожить жизнь с мечтою, все время двигаясь к ней шаг за шагом...

А взять, к примеру, женщин...

Скажем, Юлиана. Переводится имя, как «кудрявая». Но кудрява не сама Юлиана, а ее характер, выкидывающий порой такие кудрявые кунштюки, что кудрявее и не бывает...

С ней интересно и опасно, поскольку она умна, дружелюбна, не любит однообразия ни в чем, но упряма, как лось. Вернее, как лосиха. Ежели упрутся – не сдвинешь! Любые авторитеты ей – побоку, потому что единственный авторитет для нее – это она сама...

А Марго? То бишь Маргарита? Вот уж где таится всякая чертовщина. Верно, все предыдущие Маргариты наложили на это имя столько непонятной загадочности и магической таинственности, что нынешним Маргаритам, а вернее, тем, кто рядом с ними, – и вовек не расхлебать...

Маргарита всегда повелительница. Королевна. В душе и по поведению. Маргариты словно рождаются в пурпурно-лиловых мантиях, подчеркивающих королевскую породу, как некоторые рождаются в рубашках. А когда Маргариты умирают, окружающим кажется, что опустел весь мир – так в нем становится гулко и пусто...

А что же имя Иван, которое носит интересующий Ивана Федоровича недоучившийся гимназист Жилкин, и коим наградил будущего судебного следователя Воловцова его отец Федор Силантьевич Воловцов, выбившийся к старости лет в личные дворяне? Какой отпечаток накладывает на характер и судьбу человека это имя?

Тут, собственно, все довольно просто. Ведь имечко это едва ли не нарицательное. Еще сотня-другая лет, и Иванами будут звать всех, кто прост, добр и радостен. Не тем, что он постоянно хохочет в голос, а тем, что благорасположен изнутри...

Ну, разве не прост этот Жилкин?

Кто дергал его за язык читать стихотворение самого скабрязного поэта Всея Руси на уроке истории русской словесности? Ведь надо же додуматься до такого поступка!

Но Иваны – не дураки. Иваны и в сказках не дураки, хоть в них они часто так и называются. Они просто такие, какие есть. Умеющие грустить и радоваться, смеяться, когда смешно, и плакать, когда грустно и печально, ничуть не скрывая душевного настроения.

На их лицах нет различных личин, в зависимости от ситуации или определенного случая: скажем, для беседы с начальником Департамента одна, для разговора с подчиненными – другая, а для общения с надоевшей супругой – третья. Иваны – цельные натуры, и этого у них не отнимешь. Да они и не отдадут... Они просто живут и делают то, что им написано на роду. Написано Жилкину на роду стать жуликом? И он им станет. Написано Ивану Воловцову на роду этих жуликов ловить и уличать? Он и будет их ловить и уличать. И никуда им от этого не деться, поскольку так легла карта... И надо признать, что будет он делать это лучше, чем кто-либо другой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.